



Застолье Петра Вайля

18+

CoRPvS

Случайного ничего не бывает,
всё что надо — рифмуется

ПЕТР ВАЙЛЬ

Писатели на «Свободе»

Застолье Петра Вайля

«Corpus (ACT)»

2019

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Застолье Петра Вайля / «Corpus (АСТ)», 2019 — (Писатели на «Свободе»)

ISBN 978-5-17-118160-4

В книге “Застолье Петра Вайля” собраны выступления знаменитого писателя на Радио Свобода – с 1986-го по 2008 год. О себе и других; о литературе, музыке, кино, театре, телевидении, политике, кулинарии и сексе. В предисловии Иван Толстой заметил: “Хотя никто не назвал бы Петра приверженцем студии, тем не менее, радио удивительно гармонировало с его натурой. Здесь по определению военная дисциплина: это почтальон может переждать дождик под деревом, а радиоведущий, хочешь – не хочешь, открывает рот при включении красного фонаря. В эфире не должно быть пауз. И это Вайлева стихия”. Так же бесспорно, что и сам Вайль – стихия. Публикуемые в книге воспоминания тех, кто близко знал Вайля, подтверждают это.

УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-118160-4

, 2019

© Corpus (АСТ), 2019

Содержание

Иван Толстой. Застолье Петра Вайля	6
Письменный стол	9
Беспечный педант	9
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Застолье Петра Вайля: сборник

© Радио Свободная Европа / Радио Свобода, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство Аст», 2019

Издательство CORPUS

Иван Толстой. Застолье Петра Вайля

Петр Вайль был прежде всего политиком. Не потому, разумеется, что он ею интересовался. Нет, он был политиком самому себе. Если политика – планомерное осуществление некоей программы, то такая программа у Вайля была, и очень отчетливая. Но рождалась она не на людях, не в публичном пространстве, а за столом, вернее – за столами.

Он всегда знал, чего хочет, и готовился к своему шагу с максимальной тщательностью. Три вещи лежали перед ним – карта, расписание и кулинарная приправа. Он сам любил вспоминать свой юношеский портфель с вечным походным набором советских лет – зубная щетка, чистые носки и хмели-сунели: не пропадешь ни в одной компании.

В движении к цели он не знал авось и импровизации. Двадцать лет назад я назвал свою беседу с ним “Беспечный педант”. Не хочу переписывать историю, но я был не прав. Был он не беспечным, а скорее невротическим, тираническим педантом. А уж когда все задуманное получалось, все было увидено, измерено, понято, тогда можно было беспечно поужинать. Хотя – беспечно, если вы соглашались с его выбором блюд. А если сопротивлялись, вы падали в его глазах.

Вайль был классическим либералом. Уважая свободу и личность, он не выносил никакой жестокости и самодурства. И сам был человеком строгих правил. Не терпел расхлябанности и приблизительности – ни в обществе, ни в литературе, ни в частных отношениях.

По его неизменному пиджаку с галстуком читается многое. Требуя уважения к себе, он галстуком ежеминутно обозначал норму. В его случае это была не официальная, а именно нормативная одежда.

Норма – вообще одно из центральных для Петра понятий. Мои права заканчиваются там, где начинаются твои. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вполне библейские заповеди. Никакого амикошонства, панибратства. Развязность может быть только краткосрочной и только частью игры, в которую готовы играть оба.

Поэтому Петр был человеком предсказуемым, то есть европейским, светским. Скандалов не устраивал, русским безудержом не обладал. Это и были его политические взгляды: либеральные, а значит, с его точки зрения, нормальные.

Второе важнейшее для Вайля понятие, его кредо – профессионализм. “Ни в какой работе, – говорил он, – на очень талантливых людей рассчитывать нельзя. В любой работе надо рассчитывать на людей максимум профессиональных”. И свое разочарование в российских делах формулировал так: “Может быть, вообще отсутствие профессионализма – самое пагубное, что есть сейчас в России, во всех сферах”.

Сам он умел работать при любых обстоятельствах, при всех политических режимах (и в рижской “Советской молодежи”, и в нью-йоркском “Новом американце” – причем и там, и там в одинаковой должности ответственного секретаря), и при пустом кошельке, и на хорошем жалованье, и в галдящей редакции, и в кабинетной тиши под вариации Баха.

Он везде находил себе стол. Любил повторять, что одни обедают на краю письменного, другие едят на краешке обеденного. Сам же уважал обе процедуры: всему своя степенность и толковость.

Он и коллег, и приятелей ценил прежде всего за нормальность и профессионализм. В устах Вайля это была высокая похвала. Нормальный профессионал – это тот, с кем можно иметь дело, на кого можно положиться, кто не проврет в цифрах, в метафорах, в человеческих связях. Даже Пушкин у него “резко выделяется своей нормальностью”.

Ясность, разум, картезианство Вайля не скрыты в одном лишь строении его речи. Он и самому себе помогал риторическими мостиками: самая частая у него связующая фраза – “Понятно, почему это происходит”. Без капризов, без импрессионизма. В галстуке.

Жизнь в несколько провинциальной Праге он тоже считал нормой. Или заставлял себя так считать. Он вообще многое делал с усилием, подчинял себя плану, программе. Осуществлял свою политику.

Я подозреваю, что и себя он оценивал не как выдающегося человека, но как фигуру высочайшей нормы. Здесь, кстати, кроется толкование тех героев, что населяют самую известную его книгу “Гений места”: не о гениальности в ней речь, а о воплощенном духе, не о художественном или литературном таланте, но о живой проекции культурно-исторических ракурсов. Как и во всем прочем, Вайль решал здесь концептуальную задачу, что и было главным его творческим инструментом. К сатирическому юмору в придачу.

Без ясной концепции Петр за стол не садился. Иногда она входила в противоречие с намеченным планом – и тогда ему приходилось настаивать на вполне спорных суждениях. В “Родной речи”, например, написанной в соавторстве с Александром Генисом, Лермонтов объявлялся слабым лириком (за переизбыток глагольных рифм). О другой Вайлевой концепции (на этот раз пушкинской) рассказывает в своих воспоминаниях Сергей Гандлевский, возводя свою ссору с Петром к несопадающим трактовкам беспечного чижика. И вообще у книги “Стихи про меня” есть не только рьяные поклонники.

К радио у Вайля было прагматическое отношение. Это было место социальной стабильности и быстрый полигон для оттачивания своих писательских суждений.

Хотя никто не назвал бы Петра приверженцем студии, радио, тем не менее, удивительно гармонировало с его натурой. Здесь по определению военная дисциплина: это почтальон может переждать дождик под деревом, а радиоведущий, хочешь не хочешь, открывает рот при включении красного фонаря. В эфире не должно быть пауз. И это Вайлева стихия.

Как и многих других, радио учило его писать внятно, доказательно, в фас. Эфир противится кучерявым и витиеватым выступлениям. Ум Вайля пропустил через себя драматургические уроки Довлатова, но, в отличие от него, он не был бархатноголосой сиреной: радио для Петра оставалось только функцией главного – писательства.

Притом что от размышлений о литературе, о чужих книгах Вайль с годами постепенно отходил (поворачиваясь, как он говорил, непосредственно “к жизни”), словесное искусство он ставил выше всего, писатель в его иерархии находился на вершине творческой и жизненной пирамиды.

За столом и рождались все его построения – литературные и кулинарные, он и путешествовал по миру не для того, чтобы где-то остаться, подыскать себе место, а чтобы, набравшись впечатлений и точных деталей, вернуться за стол и облечь увиденное в правильную форму, тем самым угощая собеседника страницей будущей книги или гармонично-продуманным ужином.

Не могу в связи с этим не вспомнить один обеденный эпизод. Приехала как-то в Прагу московская съемочная группа – записывать с Петром какую-то кулинарную программу. И он для заполнения телепространства позвал за стол и нас с женой. Я уже жмурился от удовольствия: у Вайлей всегда вкусно, а тут еще и показательное выступление намечается. Принаряженная ведущая задает хозяину всякие выигрышные вопросы, осветители бесшумно передвигаются по периферии, камера делает свое дело. Мой воскресный день складывается самым удачным образом.

И тут Петр ничтоже сумняшеся, не дрогнув ни одним мускулом, делает легкую паузу и говорит мне: “Положите назад. Вы не один” – и продолжает рассказ на камеру.

Он вовсе не собирался готовить салаты бочками, угощение было рассчитано ровно по числу приглашенных, включая осветителя и шофера, но – не больше. В Петре не было купечества, трактирной удали, и его совершенно неправильно называют гурманом. Гурман по-французски – обжора, и это я на телеобедне, к стыду своему, забыл. А Вайль был понимающим, знающим, гурмэ.

Между этими двумя важнейшими для него столами – письменным и обеденным – были и другие, поверхность которых приходилось возделывать по долгу службы и в силу профессии, – столы журнальные и круглые: быстрых отзывов, кратких рецензий, моментальных обменов мнениями у пашущего журналиста накапливается столько, что до писательского стола и не добежать. За эту способность к оперативному и высокопрофессиональному отклику Вайля ценили всегда и во всех редакциях.

“Петя, скончался такой-то”, “Аргентина – Ямайка – 5:0”, “Как понимать такую-то новость?” И Вайль тут же затихал, ища мысль и первую к ней фразу – и через час миниатюра была готова: о Чаплине, о Клинтоне, да хоть о валенках.

“Игорь, – слышу я голос Петра за перегородкой, – вы фильм «Коля» смотрели? Нет? Да что же это за тупое зверье! Юрьенен тоже не видел. У меня сейчас эфир. А я только завтра иду... Иван, ну хоть вы-то видели? Каналья! Невозможно работать, никто не смотрел!”

Через десять минут начинается прямой эфир, в конце которого мы слышим, как Петр Львович спокойно переходит к культурной рубрике, рассказывает о выдвижении “Коли” на “Оскара” и дает внятную, элегантную и исчерпывающую оценку картине.

Ну и что, что не видел? Нормальный профессионал.

Одно время и мне пришлось целый год вести культурную передачу в прямом эфире, и я как-то предложил Вайлю обсудить у микрофона актуальную тему. Он дружески согласился, настал день и час, я уже сидел в студии. Перед самым эфиром открылась дверь и вошел Петр, в костюме и галстуке. Он был абсолютно, стопроцентно, изумительно пьян. До прозрачности.

Вероятно, он только что тепло проводил кого-то из своих гостей.

Нервная тоска овладела мною.

“Что же мы будем делать?” – негромко спросил я.

Он, не торопясь, медленно моргнул: “Ваньтё, вы лучше за фонарем следите”.

Красный фонарь включился, эфир потек, и паника моя стала понемногу отступать: Петр, хотя и говорил заторможенно и раскладисто, был совершенно безупречен в логике, композиции и грамматике. Да, гораздо меньше звучало афоризмов и острот, но такой стройности и содержательности мысли все равно было не достичь ни одному трезвому коллеге.

К концу часового эфира я был почти счастлив.

“Я вас когда-нибудь подводил?” – спросил Петр, поднимаясь из кресла.

На “Свободе” Вайль проработал больше двадцати лет, а с 1988-го по 2008-й – в штате: ведущим программы “Поверх барьеров” из Нью-Йорка, затем *Liberty Live* из Праги, возглавлял информационное вещание, был главным редактором Русской службы, придумал и вел серию “Герои времени”, комментировал, брал и давал бесчисленные интервью.

При ежедневной занятости он провел, прикидывая грубо, около тысячи программ и написал столько же комментариев. Радио для него оказалось и письменным, и журнальным, и круглым столом. Объединяющим.

Работа рядом с Вайлем была исключительным интеллектуальным удовольствием. Вы с радостью находили в нем единомышленника, смеющегося над нелепыми попытками обмануть естество: выискивать обезжиренное, придерживаться диетического. Не имея никаких специальных биологических познаний, он интуитивно чуял фальшь предостережений и ложность угроз, исходящих, скажем, от холестерина. Пожимал плечами: “Природа ошибаться не может. Если на молоке образуются сливки, значит, Господь Бог это предусмотрел”.

Как-то он торжественно показал мне обложку “Тайма” (или “Ньюсуика”) с вареным яйцом в рюмочке и победной надписью: “Реабилитировано!”

В тот вечер мы с ним поднимали бокалы за здравый смысл и доверие природе, на чем он настаивал всегда и за всеми столами.

Письменный стол Литература, язык, книги

Беспечный педант Петр Вайль в беседе с Иваном Толстым

Иван Толстой. Давайте о корнях. Что за фамилия Вайль?

Петр Вайль. Все Вайли – из Эльзаса. У нас в семье была такая легенда, над которой я долго посмеивался и даже стеснялся рассказывать. Считалось, что предки наши пошли от наполеоновского солдата, даже называлась его специальность, не вполне почтенная, – барабанщик, который с Наполеоном пришел в Россию и то ли раненый, то ли пленный там осел. И от него пошли русские Вайли. И вот однажды в Америке, в Чикаго, на какой-то конференции, где все ходят с табличками на груди, я увидел человека с такой же фамилией, как у меня. Подошел, мы разговорились. Рассказал ему эту легенду, опять-таки со смешком. А он говорит: “Вы напрасно смеетесь. Все совершенно точно: Вайли из Эльзаса. Мои корни оттуда, и знаменитый Курт Вайль, и знаменитая Симона Вайль. Это все эльзасские евреи”.

И. Т. А кто он был сам?

П. В. Обычный американец. Потом, через несколько лет, попав в Эльзас, я обнаружил город, который называется Вайль-на-Рейне, и сфотографировался возле путевого знака. Так что, видимо, семейная легенда оказалась правдивой. По отцовской линии мы оттуда. Но дед мой уже был коренной москвич, работал библиотекарем, и отец родился в Москве.

И. Т. А как вас занесло на окраину империи, в Ригу?

П. В. На окраину империи нас занесла война, не меня, конечно. Отец ушел на фронт ополченцем. В 41-м он уже был взрослым человеком – тридцать лет, высшее образование, инженерно-строительное. Был рядовым, старшиной роты. А потом разобрались, что он знает в совершенстве немецкий. Отец немецким владел как русским: кончал знаменитую Петершуле в Москве, школу с обучением на немецком языке. Его взяли в отдел пропаганды среди войск противника, где он стал офицером, естественно. Закончил войну в звании капитана и четыре года служил в Германии, до 49-го года. Там, кстати, родился мой старший брат – в 46-м в Иене. Об этом – моя первая фраза на иностранном языке, произнесенная в четыре года.

Я ходил в детский сад рижского завода ВЭФ, который выпускал среди прочего известные в Союзе “Спидолы”. Мать работала врачом в вэфовской больнице. А поскольку все иностранные делегации посещали этот завод, главное предприятие Латвии, некоторых еще приводили в детский сад, показать детишек. Как-то к нам должна была приехать гэдээровская делегация, и я сказал об этом дома. Тогда отец меня научил фразе “*Mein Bruder ist in Iena geboren*” (“Мой брат родился в Иене”). Когда пришли немцы, я произнес эту фразу, что вызвало буйный восторг, увешали меня значками, задали чем-то.

И. Т. Если бы немцы еще поинтересовались именем вашего брата – Макс Вайль!

П. В. Макс Вайль, между прочим, мелкий персонаж в романе Ремарка “Возвращение”. Там есть санитар Макс Вайль, который раза два мелькает.

И. Т. А немецкая фамилия отца не вызывала у него проблем, или же она воспринималась перед войной как еврейская?

П. В. Вряд ли как немецкая, отец был стопроцентный еврей. Вот в Риге это имело другое звучание. Меня сплошь и рядом, так как я был блондин (пока не поседел), принимали за остзейского немца или, как говорили, “из рижских немцев”. Латыши и местные оставшиеся немцы воспринимали как своего.

И. Т. Как отец переместился в Ригу?

П. В. Его оставили служить в Германии. Занятный эпизод. Вполне скромный человек (отец был очень скромный во всех потребностях, из таких правильных русских интеллигентов), он вдруг оказался капитаном на генеральской должности. Заведовал всеми средствами массовой информации Тюрингии. У него в подчинении черт знает кто только не был. По штату полагалась вилла, с садовником, прислугой, шофером. Фотографии тех времен разглядываю и поражаюсь. Разрушенная Германия – мать в чернобурках, отец в роскошном кожаном пальто! Жили красиво.

В 49-м году его перевели в Ригу. Стал майором, а в 56-м по хрущевскому большому сокращению армии его уволили в запас. Отец оказался одним из тех несправедливо обиженных: ему оставалось два года до полной выслуги пенсии, а он вышел на бобы. Пошел служить в какое-то строительное управление.

И. Т. Отцовские наклонности вы тоже унаследовали: ведете пропаганду среди войск противника.

П. В. Это вы еще не знаете всего в моей биографии! Я служил в Советской армии срочную службу – два года в полку радиоразведки. Подслушивал американские самолеты и сеть обеспечения ядерных ударов в Европе. Мы их подслушивали и записывали все эти кодированные передачи. Когда я жил в Нью-Йорке и был уже американским гражданином, попал на коктейль-парти, не помню, в связи с каким событием. Разговорился с каким-то человеком, стоим, у каждого в левой руке по тарелке, в правой по стакану. То-се, где работаете? “На Радио Свобода”. Он говорит: “Я тоже работал на радио, в американской армии. Была такая радиосеть обеспечения ядерных ударов в Европе”. Это 88-й год, еще полная советская власть, перестройка только началась. И тут у меня из памяти вылезли позывные тех станций, и я несколько произнес вслух: *Maple Wood, Bold Eagle*. Он с грохотом уронил разом тарелку и стакан, страшно побледнел, пятясь, ушел в толпу и исчез навсегда. Ясно рисуется: вот она, рука Москвы, наконец взяла его за горло. Так что моя разведдеятельность была широка.

Мы подслушивали американцев, и мифология войны в то время (я служил в 69-м – 71-м годах) была реальной. Только что, в 68-м, вошли танки в Чехословакию, все ощущалось остро, нас так и нацеливали. Как-то захожу в Ленинскую комнату, там командир роты майор Усков ходит, огромный такой мужчина, а на полу расстелена карта Европы с большими красными стрелами. По ней ползает наш полковой художник и спрашивает, не поднимаясь с карачек: “Товарищ майор, на Брюссель чё писать?” Тот, подумав, машет рукой и говорит: “Пиши полторы мегатонны”.

Майор Усков правильными методами воспитывал в нас ненависть. Популярно объяснял: “Самолет-разведчик поднимается с военно-воздушной базы Эндрюс, СэШЭА, пересекает Атлантический океан, сделал посадку в британском аэропорту Кроутон, попил чаек, кофе унд какао и летит к нашей границе”. На “унд какао” срывался на фальцет.

Утром в субботу выходили из казармы, в это время зарядки не полагалось, никаких занятий, и раздавался голос из репродуктора: “Начинаем наш еженедельный радиожурнал «За что мы ненавидим империализм»”.

И. Т. А что вы унаследовали по материнской линии?

П. В. Отец с матерью познакомились при самых романтических обстоятельствах – мать, военный врач, оперировала раненого отца на фронте. Но происхождение их диаметрально противоположное.

Мать родилась в Ашхабаде, в семье сектантов-молокан. Это вариант духоборов, у них нет ни церквей, ни священников, ни икон. Библию сами читают, в быту – протестантская суровость. Молокане – оттого, что в пост молоко позволяют.

Корни наши, как мне недавно удалось узнать, довольно любопытные, идут с Тамбовщины. Предок был некий дворянин по фамилии Ивинский (почему-то его произносили с уда-

рением на первый слог), который вдруг воспринял молоканские идеи, отказался от дворянства, распустил крепостных и уехал в числе прочих единомышленников в Персию. Оттуда ушел в Армению, там было известное молоканское село Еленовка, а вот его потомки уже переселились в Туркмению.

В 80-е годы XIX века Россия колонизовала Среднюю Азию, и поскольку туркмены были всегда кочевниками, они не умели и не любили работать на земле. А земли были хорошие – в предгорьях Копетдага у иранской границы. И вот правительство завлекало туда молокан, которые были замечательные хозяева, непьющие, некурящие, негулящие, им давали наделы почти бесплатно, ссуды на сельскохозяйственные орудия, подъемные на переезд.

Нынешним апрелем я проехал по Средней Азии. Нашел множество родни, о которой не знал, – в Ташкенте, Самарканде. Был в Туркмении. Не всюду меня, к сожалению, пустили: пограничная зона. Но все же отыскал в предгорных селениях остатки молокан, там помнят Семеновых – материнская фамилия Семенова. Этот самый Ивинский, круто меняя жизнь, сменил и фамилию – на Семенов, в честь основателя молоканства Семена Уклеина.

И. Т. А сколько вот так прожило поколений, между Ивинским и вашей матерью?

П. В. Я думаю, два-три. Дед мой оказался предприимчивым и переехал из этих приграничных поселков в Ашхабад, открыл извоз, такой лошадиный таксопарк. Был состоятельным человеком, и, естественно, в 30-е его раскулачили и расстреляли. А старший брат моей матери, Петр, ушел в Персию. Там жило довольно много русских, которым не нравилась советская власть.

Петр был человек широкий и дружелюбный, его любили местные иранцы и предупредили перед очередной антирусской резней. Бежал обратно в Россию, на границе был пойман и посажен. Отсидел, и вот тут начинается совершенно киношная драма. Петр вышел из тюрьмы, посидел дома, вечером отправился к товарищу, видимо, выпить по случаю освобождения, и в эту ночь произошло знаменитое ашхабадское землетрясение 48-го года. Он погиб, пробыв на свободе меньше одного дня. В его память меня и назвали. Бабка моя осталась жива случайно – потолочная балка упала на спинки кровати и таким образом создала шатер.

Мать в то время жила в Германии. Она родилась в 19-м году в Ашхабаде, окончила Ташкентский медицинский институт, отправилась на фронт, встретила там моего отца. В 49-м они оказались в Риге, где в том же году родился я.

И. Т. Какие ваши детские первые духовные, культурные навыки, воспоминания?

П. В. Книжки – ничего другого не было. Кино в своем детстве не помню. Но очень хорошо помню, как в первый раз увидел телевизор. Мне было лет пять, и у моего одноклассника по детскому саду Вовки Карманова появился телевизор “КВН”, что расшифровывалось “Купили – Включили – Не работает”. Экран величиной с открытку, прилагалась водяная линза. Расставили стулья, пришли соседи, друзья, на окнах раскрутили черную бумагу. Что смотрели – совершенно не запечатлелось.

Родители мои пребывали в каком-то странном заблуждении, что телевидение мешает учиться, хотя я всю жизнь был отличником, и они сознательно не покупали телевизор. Первый в нашей семье появился, когда мне лет девятнадцать было. А книжки в доме были и культивировались. Припоминаю, как отец пытался вечерами устраивать чтение вслух, но я сам научился читать в четыре года, читал без конца.

И. Т. Родители как-то заботились о направлении мысли?

П. В. Нет, видимо, не слишком. Вообще полноценной такой семейной жизни, я думаю, у меня в детстве не было. Что вполне объяснимо. Отец служил, плюс всякие общественные интересы и даже журналистские склонности: член Союза журналистов, пописывал статейки на политические темы, читал лекции о международном положении, все – помимо работы. А мать – врач, приходила разбитая.

Вот практическое воспитание было: держали в молоканской строгости и полной самостоятельности. Я с семи лет готовил себе еду, потому что все отправлялись на работу, а я шел в школу во вторую смену. Стирка трусов и носков – это обязательно ежедневно, только сам. Сходить в магазин, пришить пуговицу – все с малолетства. Карманных денег абсолютный минимум – и потому что были небогаты, и потому что считалось развратом. Конечно, никакого алкоголя в доме, отец мог выпить с гостями три-четыре рюмки, мать – одну. Вот курил отец – трубку, так что запах “Золотого руна” – запах детства.

И. Т. А что был за круг ваших родителей, как они жили помимо работы?

П. В. По-моему, круг довольно случайный. Такие среднеинтеллигентные люди. Помню врача, инженера, помню военного, тоже с какими-то гуманитарными склонностями. Этот круг ни в какой степени меня не интересовал. Мне никогда не хотелось сидеть со взрослыми. Я забивался в уголок и книжку читал.

И. Т. Квартира была коммунальная?

П. В. Огромная квартира – семь семей, человек тридцать.

И. Т. А насколько вообще коммунальной была Рига?

П. В. В Ригу хлынуло огромное количество советских военных и сопутствующего персонала. Там был штаб Прибалтийского военного округа. И целые огромные дома так и назывались – военными, вот как наш. Сказочное здание 1905 года постройки. Если раскроете толстую книгу “Архитектура Риги”, найдете там мой дом. Это ар-нуво, стиль модерн. Четырехметровые потолки, паркет.

Все соседи – военные или отставные. Ответственный квартиросъемщик у нас был Борис Захарович Пешехонов, кавалерийский полковник в отставке, ходил в шлепанцах, галифе и нательной рубахе. Когда он шел в сортир с пачкой “Беломора” и годовой подшивкой “Огонька”, все цепенели, зная, что это на час.

Отношения были более-менее приличные, крыс в суп не кидали. В основном потому, что вот эта пара – Марья Павловна и Борис Захарович Пешехоновы – держала верх, и Марья Павловна была главный авторитет по всем бытовым вопросам. Помню, как выбегает с выпученными глазами на нашу коммунальную кухню, где все толклись возле керогазов (очень долго у нас не было газа), недавно родившая молодая женщина, вся в слезах: “Марья Павловна! Что делать? Настенька вся мокрая!” А Марья Павловна, не поворачиваясь от керогаза, басом говорит: “Вспотевшая или обоссавшая?”

Наверное, у родителей были какие-то конфликты с соседями, но нас с братом не посвящали. В этом смысле семья была совершенно закрытая. Я понятия не имею о перипетиях в отношениях между отцом и матерью, вообще мало что знаю о них по-настоящему. Еще и потому, что уехал в 77-м году в эмиграцию. Отец умер в 83-м, когда я не мог даже приехать на похороны. Во взрослые годы, когда у меня появился настоящий интерес к своей семье, мне не у кого было спросить.

И. Т. А родителям не приходило в голову трогаться с места?

П. В. Приходило. Как раз около 83-го года. Они даже попродавали кое-что из вещей. Ведь вслед за мной уехал мой брат. Они остались одни. Но ехать долго не хотели. И правильно, что не хотели, старикам тяжело адаптироваться. А они жили вполне насыщенной жизнью, особенно отец, очень общественный человек. Да и мать тоже. Я когда приезжал в 90-е годы, меня поразило: у матери телефон звонил каждые полчаса. Но почему все-таки возник порыв и почему угас – я не знаю. Если бы отец был жив, он бы рассказал, а мать вообще ничего никогда не рассказывала.

Вот вам, пожалуйста, поразительный штрих – я в сорок семь лет узнал, что, оказывается, крещеный. Мне мать это сказала за полгода до своей смерти. И то как-то вскользь. Когда я родился, отец служил в Даугавпилсе и наезжал в Ригу только на уик-энды, и бабка (та, которая

выжила в землетрясение), жившая тогда у нас, отнесла меня на улицу Акас в молоканский молельный дом, где я был крещен. Узнал ли когда-нибудь об этом отец – не знаю.

В 95-м году меня пригласили на Московский кинофестиваль, там был выезд на Волгу, в Нижний Новгород, с плаванием на пароходе в Макарьевский монастырь. Около монастыря устроили большую гулянку со стерляжью ухой, присутствовала игуменья мать Михаила со своим помощником отцом Владимиром. И вдруг одна кинокритикесса, от общей благоустности и выпив, решила креститься. Позвала меня в крестные отцы. Я должен был объявить, что некрещеный, чем страшно огорчил священнослужителей. Они ко мне успели очень расположиться, а тут такое. Отец Владимир бегал за мной по всему берегу Волги и говорил: “Петь, ну покрестись, ну что тебе стоит?” Оказывается, зря огорчил хороших людей.

И. Т. А узнай вы раньше о своем крещении, в сознании произошли бы повороты?

П. В. Не думаю, у меня никогда не было никакого иного самосознания, кроме просто русского. Ни еврейского, ни сколько-нибудь религиозно окрашенного. Я убежден, что жить можно по заповедям, соблюдая их по сути, а не по форме. Все, что заложено в христианстве, – заложено и в обычной человеческой морали. Неконкретное религиозное чувство у меня, конечно, есть, но оно выражается в безусловном и крепнущем с годами доверии к потоку жизни. Людей можно разделить на тех, которые живут, и тех, которые строят жизнь. Я отношусь к первым. Больше того, люди, которые строят жизнь, у меня вызывают недоверие. За этим всегда кроется неуверенность и неправда. И плюс к этому – наглость. Потому что это попытка взять на себя больше, чем человеку дано.

Надо раз и навсегда понять, что жизнь умнее и сильнее тебя. Ты только можешь в силу отпущенных тебе возможностей что-то слегка корректировать. Но полагать, что можешь определить ход своей жизни, – это наглость.

И. Т. А по-вашему, человек, обладающий религиозным сознанием, способен понять больше?

П. В. Уверен, что нет.

И. Т. Он не пронищательнее?

П. В. Нет. Да, вера дается интуитивно. Но интуиция проявляется у человека самыми разными способами. И интуиция, приводящая к вере, не превосходит другую. Более того, жизненный опыт показывает, что обратившихся, которые сохраняют широту и не впадают в догматичность, – единицы. Как правило, человек радостно хватается за оформление своего религиозного чувства. А именно – за церковность, что оборачивается в подавляющем большинстве случаев нетерпимостью. И чувством совершенно незаслуженного превосходства.

И. Т. А весь тысячелетний опыт христианского чувства в искусстве? Все музеи мира полны живописью, которая создана при помощи, благодаря, может быть, единственно благодаря, христианскому мироощущению. Как агностик Вайль познает, понимает и интерпретирует христианское искусство? Доступно ли оно агностику?

П. В. Безусловно, потому что христианство имеет колоссальное культурное измерение. И оно доступно любому человеку, хоть мусульманину. Правда, не в такой степени, если он вырос в этой, извините за уродливость выражения, эллинско-христианской парадигме, а в какой-то другой. Конечно, христианское искусство доступно и неверующему. Эти вечные сюжеты, проигрываемые каждый день... Религиозное представление о том, что Распятие и Воскресение происходят ежедневно, – это действительно правда. В метафорическом смысле. Усомниться в том, что тело и кровь Христовы при причастии реальны, с церковной точки зрения – ересь. А я в такое поверить не могу, в метафору – да, конечно.

И. Т. Но художественная сила красок – она, возможно, связана с верой в то, что, причащаясь, мы причащаемся ко Христу?

П. В. У одних да, у других нет. И ведь произведения на такие темы создавали как глубоко верующие, так и агностики. А по прошествии лет вы уже не отличите одно от другого. Более

или менее понятно, что Фра Анжелико был глубоко религиозный человек. Но уже есть большие сомнения относительно, например, Тициана. Тем не менее христианское в его картинах, я думаю, совершенно очевидно.

Христианство настолько богато и широко, что его хватает на всех: и на истово верующих, и на агностиков. Я понимаю, насколько такое звучит чудовищно для церковного человека. Но в данном случае это не мое мнение, а скорее констатация непреложного факта: мы с этим живем – с христианством как явлением культуры.

И. Т. Давайте вернемся немного назад, к биографии. Родители, например, поднимали голос, когда вам нужно было выбрать стезю после школы?

П. В. Вроде бы нет. Все происходило бестолково. Я был отличник по всем предметам, а в десятом, что ли, классе выиграл городскую олимпиаду по физике, но всегда имел гуманитарные склонности. При этом пошел почему-то на судостроительный факультет. Короче говоря, мне было как-то все равно. У меня были абсолютно другие интересы.

И. Т. Какие?

П. В. Выпивка, девушки. И книжки читал. Вот и все. Мне было все равно, где учиться. Я не помню каких-то особых родительских настояний. Но просто считалось, что человек, закончивший формально с серебряной медалью (мне ее почему-то не дали, кажется, из-за поведения, я прогуливал очень много), должен поступать в институт. Но, проучившись три года, я понял, что не в ту степь меня занесло – дифференциальное исчисление, начертательная геометрия, технология металлов, черт знает что. Ушел из института и тут же загремел в армию.

Два года отслужил и только лет через пятнадцать понял, что это тоже было хорошо. Но доверия к жизни, которое приходит с возрастом, тогда у меня не было. Я считал, что попал в беду, потому что молодые люди моего круга в армию не ходили. Прилагали все мыслимые усилия, закашивали на слабоумие, туберкулез, менингит, шизофрению. Падали навзничь, когда нужно было пройти по полове. Когда просили дотронуться до кончика носа пальцем, промахивались, выдавливали себе глаза. Мыло клали в рот, чтобы пена шла. А я вляпался и только потом понял, что все правильно. Те картинки жизни вспоминаю до сих пор, вставляю в сочинения время от времени – значит, так и надо было.

И людей замечательных там встретил. Володя Раковский, с которым мы дружим вот уже тридцать лет. Юрис Подниекс, увы, ныне покойный, утонул в сорок один год – помните, был такой перестроечный фильм “Легко ли быть молодым?”. Джазовый пианист Олег Молокоедов, он руководил в полку самодеятельностью, куда я пристроился, не имея никаких талантов, с художественным чтением – два года читал одно-единственное стихотворение “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...”.

И. Т. Для радиоперехвата нужен был английский язык?

П. В. Провели отбор. У кого пятерка по английскому – шаг вперед. А дальше уже собеседование, из призыва выбрали шесть человек, меня в том числе. То есть в армии у меня оказалась интеллигентная специальность. А до и после – совсем плебейские работы. Кладбищенский рабочий, грузчик, пожарный. Грузчиком сделал блистательную карьеру. Пришел на кожгалантерейный комбинат “Сомдарис”. Через два месяца умер от инфаркта с перепоя наш начальник, и меня, девятнадцатилетнего, сделали бригадиром. В бригаде самому молодому было шестьдесят три года, все латыши, ни слова по-русски. После армии пошел слесарем-инструментальщиком. Опять-таки потому, что было все равно. Меня интересовало только свободное время. Рабочее – никоим образом. Мы делали стеклопакеты. Когда я приехал в Ригу в 90-м году, через тринадцать лет эмиграции, поселился в гостинице “Латвия”, застекленной моими руками. Эти стеклопакеты делали всего два человека – мастер Олег Рогачев и я, подмастерье. Все двадцать семь этажей застеклены нами.

И. Т. Вы подходили, проверяли? Не расклеиваются?

П. В. Отвратительно сделано. Стеклопакеты были технической новинкой, считалось, что не потеют и не замерзают. Я останавливался в “Латвии” и летом, и зимой: потеют и замерзают. Немудрено – мы увлекались портвейном на работе и все теми же девушками. У нас был большой цех с несколькими помещениями, довольно уютными, и ключи от этого цеха. Можно себе представить, как весело жили. Потом я оттуда уволился, уже не помню почему. И чтобы не потерять непрерывность стажа, устроился в пожарную команду.

И. Т. Опять потому, что было все равно?

П. В. Абсолютно все равно. Просто мой приятель Володя Гаврилов предложил: “Хочешь, я тебя в пожарке устрою? Там сутки через трое”. – “А что, – говорю, – надо?” – “Надо, чтобы ты мог спать часов шестнадцать в сутки. Сможешь?” Я говорю: “Никогда не пробовал. А читать-то можно?” – “Сколько угодно”. Кстати, оказалось, что читать подряд, когда абсолютно нечего делать, трудно. Я за первую смену прочел томину, страниц на четыреста. А потом все меньше и меньше. Под конец двадцать-тридцать страниц прочитывал, но действительно научился спать по шестнадцать часов. Главное, не пил с коллегами.

В основном пожарные были из окрестных хуторян, которые не хотели идти в колхоз: у них были свои хозяйства. Так чтобы не привлекли за тунеядство, шли пожарными. Три дня трудились у себя на хуторе, а четвертый пили по-черному. На моих глазах два юных студента, нанявшихся туда работать параллельно с учебой, – спились с ними вчистую, были выгнаны из института.

Вот в то время я как-то встретил знакомого нашей семьи, популярного в Риге журналиста из газеты “Советская молодежь”. Газету знали далеко за пределами Латвии, в Ленинграде, Москве: свободомыслящая и так далее. Потом второй пик у нее был в конце 80-х, когда тираж стал больше миллиона, она была из первых флагманов перестройки. Этот наш знакомый был в “Молодежке” звездой. Мы разговорились. Гуманитарные склонности у меня были, но я к тому времени ни одной буквы не написал, кроме стихов на случай, которые довольно ловко сочинял, описывая наши пьянки. Он мне сказал: “Почему бы тебе не написать что-нибудь в газету?” – и предложил не помню какую тему. Я написал, это напечатали. Написал еще, опять напечатали. Третий раз – и пригласили на работу.

И. Т. Кем?

П. В. Сначала корреспондентом, потом заведовал отделом информации, дослужился до зама ответственного секретаря. С этой должности меня выгнали, когда заподозрили (правильно заподозрили), что собираюсь эмигрировать. Но поскольку это вслух не проговаривалось, меня уволили по статье “несоответствие занимаемой должности”. Что было с их стороны глупо, потому что я у них числился “золотым пером” и в творческом соревновании, которое было вывешено на всеобщее обозрение в коридоре, занимал первое место. Я подал в суд.

И. Т. Зачем вы это сделали?

П. В. Правильный вопрос: “Зачем хамили?” Для этого надо вспомнить атмосферу, диссидентские настроения. В Риге диссидентов не было, и эта проблема, надо сказать, для меня стояла довольно остро. Я думаю, что если бы жил в Москве или в Ленинграде, никуда бы не уехал, занимался какой-нибудь инакомыслящей деятельностью. Но в Риге ничего такого не было. Никаких Хельсинкских групп, объединений. Меня долго обуревали идеи, что надо оставаться и что-то делать с этой страной. Самому начинать – к этому, видимо, был не готов, молод еще. Так вот и получилось, что решил уехать. Попал в общее поветрие. Опять-таки никакого специального толчка – как с армией. Получилось, что эмигрировал, и получилось, что правильно.

Я хотел увидеть мир и читать те книжки, которые хочу читать. Разбогатеть никогда не мечтал, не верил в это и сейчас не верю, что могу быть богат. Но мир увидел, а книжки не только прочитал, но некоторые и написал.

В общем, когда мое желание уехать стало известно в газете (понятно, такие вещи просачиваются), меня выгнали. Я подал в суд: мол, соблюдайте свои законы – такой существовал диссидентский лозунг. Суд был устроен в редакции – то есть выездной суд, показательный, меня должны были размазать по стенке. Но я получил некоторую подготовку. В Ригу тогда приезжал известный диссидент, юрист Владимир Альбрехт, с которым я встречался. Подготовился и как-то боролся. На каком-то этапе меня даже восстановили на работе, заплатили деньги за пропущенное время. Но потом выгнали снова.

Последние месяцы в Союзе работал окномоем, хотя я боюсь высоты. Но вообще работа мне нравилась, потому что там полное совпадение усилий и результата. Вот грязное окно, ты проводишь рукой – оно чистое. Замечательно. Я без всякой иронии это говорю. Все происходит мгновенно, наглядно и радостно. И тебе, и тем, для кого ты это делаешь. Даже зарабатывал прилично.

И. Т. А когда был Полиграфический институт?

П. В. Между Судостроительным и отъездом был Московский полиграфический институт, заочное отделение. С ним у меня связаны самые теплые чувства. Хотя, думаю, это самое бессмысленное образование, которое только давалось в Советском Союзе. Но полтора месяца весенней сессии – это оплаченный отпуск. Я со своим братом и приятелем – мы учились вместе – приезжали в Москву, снимали квартиру, и начиналась сказочная беспечная жизнь. Я Москву знаю хорошо – как раз благодаря тем сессиям, когда мы весь город исхаживали пешком. Там столько дворов и скверов политы нашим портвейном. Опять-таки романы. Это редакторский факультет, то есть в основном провинциальные библиотекарши, которые приезжали в Москву не только сдать экзамены, но и “отдохнуть”, в чем мы им активно помогали. В промежутках с похмелья сдавали экзамены, что было нетрудно.

И. Т. О чем вы писали диплом?

П. В. Тема диплома аукнулась поразительным образом через двадцать три года – “Гением места”. Тема – “Жанр путешествия”. Это в то время, когда я нигде, кроме двух-трех республик Советского Союза, не бывал.

И. Т. Наконец-то вы теперь диплом защитили!

П. В. Глубоко сидело и вот проявилось. Опять-таки – лишнее подтверждение того, что жизни надо доверять. Случайного ничего не бывает. Всё что надо – рифмуется.

И. Т. Насколько я знаю, помимо младших Вайля и Гениса, были “настоящие” Вайль и Генис – старшие.

П. В. Вот как раз приятель, с которым мы учились, это и есть Игорь Генис. Мой брат с ним подружился, а потом к ним в компанию подсоединились младшие братья.

И. Т. Все учились в Московском полиграфическом?

П. В. Игорь, я и мой брат. Брат, у которого есть художественные склонности, был художником-оформителем в каких-то конторах. Кстати, сейчас он работает по компьютерному дизайну в Нью-Йорке, до того несколько лет водил такси. В 76-м я защитил диплом, а в 77-м укатил в Америку. Уже женившись первый раз.

И. Т. Но еще до Америки вы успели напечатать одну статью с Генисом – с Александром.

П. В. В газете я печатался, надо сказать, много. Активный был молодой человек, и плюс гонорарами удваивал свою зарплату. А с Сашей мы напечатали всего одну байку. Поскольку обожали Валерия Попова, написали о его книжке “Нормальный ход”, которая вышла в 76-м. До того у Попова было несколько других книг, которые мы очень любили и вечно его цитатами перебрасывались. И опять – как все аukaется и рифмуется в жизни – первая наша публикация в перестроечной России была в “Звезде” о прозе Валерия Попова, в 89-м году, через тринадцать лет.

И. Т. Ваш путь на Запад?

П. В. Накатанный: Вена, Рим.

И. Т. Уезжая из Риги, вы уже знали, куда поедете?

П. В. Да, знал, что в Америку.

И. Т. Почему не в Париж?

П. В. В Париж ехали специальные люди. Синявский, например. Те, кого там ждали, кого приглашали. Париж как факт эмиграции – не существовал.

И. Т. То есть должны были быть некие литературно-художественные заслуги?

П. В. Да. Или ученые. Индивидуально. При чем тут двадцатисемилетний молодой человек из Риги без определенных занятий, журналист? Варианты были какие? Все мы выезжали по израильской визе и могли ехать в Израиль, Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию.

И. Т. Израиль вы отметили?

П. В. Отметал сразу. Повторяю: никогда еврейского самосознания у меня не было. А Австралия и Новая Зеландия как тогда, так и сейчас представлялись полной экзотикой. Канада как тогда, так и сейчас представлялась американской провинцией. Так что оставались Штаты. Но невежество наше практическое было таково, что я, конечно, не представлял себе, куда именно в Штатах надо ехать. И опять-таки, слава тебе господи, что это оказался Нью-Йорк, а не какой-нибудь даже Бостон.

И. Т. Почему?

П. В. Нью-Йорк – единственное место в мире, в которое вписываешься без остатка и без специальной подготовки. Ничего не надо: вступил в Нью-Йорк – и ты ньюйоркец, если того хочешь. Больше такого места в мире нет. То есть нет другой страны, где вот так легко адаптироваться постороннему человеку с совершенно иным опытом. Мы же не французы какие-нибудь, приехавшие в Штаты, – это у них общее прошлое. Мы же инопланетяне. И только Америка могла вынести таких людей безболезненно. А в Америке, конечно, – Нью-Йорк. Так что повезло, но тогда я еще этого не знал.

И. Т. Зато, попав в Бостон, вы использовали бы свои литературные наклонности, редакторское образование. В Бостоне университеты.

П. В. Я никогда этого не хотел.

И. Т. Но ведь вам же все равно было. Можно было пойти по академической стезе.

П. В. Я всегда чувствовал к этому неодолимое отвращение. И сейчас тоже чувствую. Идея преподавания мне глубоко чужда. Могу даже попытаться объяснить почему. Если меня что-то в жизни по-настоящему раздражает – это несообразительность, не глупость, а несообразительность, медленная реакция. Поэтому невозможность мгновенного восприятия, что неизбежно в преподавательской работе, меня бы, конечно, вышибала из колеи. Я бы страшно нервничал, злился на себя, что не могу объяснить, злился бы на тех, кто не понимает. Так что никакого преподавания не могло быть.

Итак, попал в Нью-Йорк, побывав в Вене и пожив в Риме. Вот чудное время – четыре месяца жизни в Италии, которую я тогда как полюбил, так и люблю больше всех стран и по сей день.

И. Т. Но вы жили не в самом Риме?

П. В. В Остии – двадцать минут электричкой до центра Рима.

И. Т. То, что называлось лагерем для перемещенных лиц?

П. В. Нет, никакого лагеря не было. Тебе давали денежное пособие, а квартиру ты снимал сам. Где хочешь, хоть напротив Колизея. Но селились кучкообразно – такое стадное чувство. Вокруг свои, поэтому проще. Есть кого спросить, есть с кем посоветоваться. Это было начало сентября. Я был с женой и шестилетним ребенком. А Остия на берегу моря, и глупо было этим не воспользоваться. Пацан торчал на пляже, купался. А в центре Рима все равно не поселишься, потому что дорого. Так что это был очень хороший вариант – такая Юрмала.

Блаженное время – ничего не делаешь, ждешь, пока оформляют бумаги на въезд в Штаты. Правда, все вокруг, включая, между прочим, мою первую жену, хотя она женщина легкомысленная,

ленная, с утра до ночи талдычили: “Скорее бы кончилось это состояние транзита. Скорее бы определенность”. А я трусливо не возражал, но про себя думал: “Продлилось бы как можно дольше”. Тебе выплачивают какие-то незаслуженные деньги, небольшие, но достаточные. Все мы привезли что-то с собой на продажу. Я – два фотоаппарата “Зенит”, которые продал за бесценок, как потом выяснилось. Италия кругом. Автостопом подсаживают – полстраны объехал. Копеечное вино. Нашли вино: литр за двести семьдесят лир – тридцать центов. Можете себе представить? Плохое вино, ничего не скажешь. Но тридцать же центов, и градус был. А в супермаркете “Станда” если ты покупал две бутылки бренди, третью давали бесплатно. Вышло три бутылки бренди по 0,7 примерно за пять долларов. Беспечность – полная. Двадцать восемь лет. Сил немерено. Весело.

И. Т. А у других было раздражение внезапностью? Они не умели расслабиться и насладиться?

П. В. Как вообще подавляющее большинство людей. Казалось бы – живи. Мы снимали квартиру с еще одной парой, на двоих. Кухня общая, лепили пельмени, как все. Крутили индюшатику. Очень ругались, что у итальянцев нет сметаны, а ее действительно нет. И делали сметану из сливок и йогурта. Очень горевали, что нет селедки.

И. Т. А между разогреванием пищи на сковородке в школьном детстве и готовкой в Остии вы какой-то кулинарный путь прошли уже?

П. В. Когда я стал выпивать с друзьями – это было в пятнадцать лет, в девятом классе, – все мы были бездомные, то есть жили с родителями, почти ни у кого не было своей комнаты, у меня не было. Так что собирались на улице, как правило, в Старой Риге, что совсем не плохо, должен вам сказать, – в готическом антураже с болтовней и выпивкой. Обычная закуска – плавленый сырок за одиннадцать копеек. Именно за одиннадцать, потому что, во-первых, за двадцать две он в два раза дороже, а во-вторых, его ломать нельзя, поскольку он хороший, жирный и мажется. А за одиннадцать – плохой, он ломается. Замечательная закуска.

Но как только представлялась возможность застолья в домашних условиях, я всегда старался ее обставить эстетико-кулинарным образом. Что-то приготовить. То какие-нибудь гренки, то особый омлет. У меня было фирменное блюдо, которое я делал очень быстро и ловко: запеченные помидоры, фаршированные рубленным мясом и присыпанные сыром. Все это делалось за полчаса и, должен сказать, имело оглушительный успех, в особенности у девушек, ценилось за необычность, что принесло мне немало радостей. Дома готовке никто не учил. Мать была занята, как бывали заняты советские хирурги. Раза два в год она вдруг делала плов, который умела готовить со времен среднеазиатской молодости.

И. Т. Какое впечатление на вас произвела итальянская кухня?

П. В. Тогда никакого. И долго не производила никакого.

И. Т. Потому что вы не ходили в дорогие рестораны?

П. В. Ни в какие вообще. А попав в Нью-Йорк, я, как очень многие, стал жертвой подмены. Там огромное количество итальянских заведений, но как пристойных, так и малопрстойных, фастфуд, где вам подают дешевые макароны, заливают их дешевым томатным соусом с *meat-balls* – фрикадельками. Это все выдается за итальянскую кухню и быстро отбивает к ней охоту.

Только через несколько лет, когда уже начал ездить много в Италию, понял, какая это выдающаяся кухня. Французская, итальянская и китайская – первые три кухни мира. Но во время римской эмиграции мы питались дома. Покупали на базаре курицу, индюшатику, варили суп, все привычное. С собой везли, что могли, – например, югославский сухой суп “Кокошья юха”, который с благодарностью вспоминаю. Заправляешь, к примеру, жареными помидорами – вот тебе готовое блюдо.

И. Т. Что же, после нескольких лет вашей журналистской деятельности в Италии возникла литературная пауза?

П. В. Там среди прекрасного ничегонеделания я написал одну байку. Есть в Риме знаменитая виа Маргутта, где собираются художники, выставляют свои произведения. Такая улица-галерея вроде нынешнего московского Арбата или киевского Андреевского спуска. На виа Маргутта я познакомился с русской художницей Любой Симанской. Пожилая женщина, не знаю, жива ли сейчас. То, что она выставляла, называлось “Люба Симанская – питриче наиф”, наивная то есть художница. У нее были такие веселые римские сценки. Мы разговорились, судьба довольно любопытная – она была родственницей патриарха, того, который перед Пименом, предшественником нынешнего Алексия. Жила в Риме много лет. В общем, я о ней написал.

Потом, когда уже летел в Нью-Йорк, оказался в самолете рядом с известным правозащитником, физиком Турчиным. Он тоже эмигрировал, но проходил, естественно, по другому классу, знаменитый человек. У меня была бутылка бренди с собой. Мы ее выпили, что он мне потом много лет вспоминал, и жена его говорила: “Я Валю таким пьяным никогда не видела”. Разговаривали долго. Я спросил, можно ли нашу беседу использовать. Но еще не знал для чего.

Представления мои о нью-йоркской жизни были самые фантастические. Я слышал, что есть такое издательство имени Чехова, которого, оказалось, не было уже много лет. Представлял, что меня туда могут взять, скажем, корректором. Когда приехал, купил газету “Новое русское слово”, пошел по адресу – дикая была пурга, январь, а я сэкономил свои ничтожные деньги и шел пешком по Бродвею сорок кварталов. Принес им эти две штуки – про художницу Симанскую и беседу с Турчиным. Они их напечатали и пригласили на работу. Так что я через десять дней после приезда уже имел рабочее место и зарплату. Слава богу, миновал многие почти неизбежные мытарства.

Возвращаясь к итальянскому периоду – я там познакомился с замечательными людьми. <...> Ну и, главное, там познакомился с Бродским.

И. Т. А кстати, что вам было тогда известно из стихов Бродского?

П. В. К тому времени уже много, потому что именно за эти римские месяцы я массу прочел. Но еще перед самым моим отъездом в Риге появился парень из Ленинграда и привез стихи Бродского: “На смерть Жукова”, “Конец прекрасной эпохи”, “Двадцать сонетов к Марии Стюарт”. Это было сильнейшее потрясение. Я Бродского очень мало знал до тех пор, к стыду своему. Но эти стихи произвели на меня ошеломляющее впечатление. Сонеты к Марии Стюарт сразу выучил наизусть, “Жукова” тоже. А когда попал в Рим, стал читать, ходил в знаменитую, ныне несуществующую, Гоголевскую библиотеку.

И. Т. Она действительно была хороша?

П. В. Конечно прекрасная. Там были и газеты, журналы. Лавина информации. И Бродского я читал там запойно. <...>

Было еще чудное знакомство – с Олегом Целковым в Венеции. С ним мы довольно сильно выпили и пошли поздно вечером искать, где бы еще. А Венеция в то время, в отличие от нынешнего с общетуристским либерализмом, была строга. Короче, мы ничего не могли найти и тут столкнулись с итальянской компанией, объяснили свои горести. Они говорят: “Вы нигде сейчас не купите, пошли к нам”. Мы послушались, и они нам вынесли огромную плетеную бутылку вина, а сами пошли спать.

И. Т. А известная фотография – Бродский и Целков на Сан-Марко и голуби – это тогда же?

П. В. Да, конечно.

И. Т. Оказалось, куда ни плюнь – всюду история, фигуры.

П. В. Когда я вернулся из Венеции в Рим, поскольку уже был кое с кем знаком, меня пригласили в Гоголевскую библиотеку, на концерт Галича, оказавшийся последним в его жизни. Там было всего человек двадцать пять.

И. Т. У вас было ощущение, что тогда, как вообще все в прошлом, было насыщеннее интересностью и людьми, и люди прежде были значительнее, чем теперь?

П. В. Нет, безусловно нет. Сейчас, я думаю, меня окружают – не в прямом смысле, а в смысле связей – очень значительные и талантливые люди. Сергей Гандлевский, выдающийся поэт. Здесь в Праге – Алексей Цветков, к сожалению переставший писать стихи, но один из лучших в этом поколении. В Штатах – Лев Лосев. Везет на поэтов. Среди московских моих приятелей – Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров. Из других литераторов – Татьяна Толстая, Григорий Горин, Григорий Чхартишвили, Юз Алешковский. Потрясающий актер Сергей Юрский. Многообразный Андрей Макаревич. Хорошие близкие отношения с Алексеем Германом, автором двух подлинных киношедевров – “Мой друг Иван Лапшин” и “Хрусталёв, машину!”. Еще питерцы – Андрей Арьев, Яков Гордин, Борис Гребенщиков, митьки. Все это люди, которых мне повезло встретить, – и мы встречаемся то в одной стране, то в другой. Почти все они гостили у нас дома в Праге.

И. Т. А оглядываясь назад, что для вас в результате значил Бродский? Что он сделал с вами?

П. В. Это самое сильное влияние в моей жизни. Причем только частично стилистическое. Бродский настолько крупное и яркое явление, что эпигонство проявляется сразу. Кроме того, я же не пишу стихов. Вы знаете не хуже меня, как быстро определяются эпигоны Бродского. Это ощущается обычно в музыке стиха. Дайте мне десять стихотворений разных поэтов, и я вам точно скажу, кто из них под Бродским, а кто нет, даже если это совсем другое по форме и содержанию. Но интонация сразу слышна.

Я стихов не пишу, поэтому стилистическое влияние очень опосредовано, в том смысле что Бродский меня научил своими эссе чередованию историй и рассуждений. Очень простая вещь. Ничего вроде бы нет проще. В действительности это большой секрет, до которого надо прийти или научиться. Я учился у Бродского. Он не зря часто повторял в последние годы, что самое важное – композиция. То есть важно не столько что, а что за чем. Нечто подобное говорил и Довлатов, но Бродский еще наглядно показывал. Довлатов все-таки писал художественную прозу, а это совершенно другое. Бродский – эссе.

Но все же главное – личность Бродского. Его ближайший друг и лучший, конечно, знаток Лев Лосев недавно мне сказал о ситуации, требующей морального выбора: “Я в таких случаях прикидываю, как бы поступил Иосиф”. У Бродского этот моральный императив был колоссальной силы. Он был человек огромного великодушия и душевного благородства. Этому уровню хотелось хоть в какой-то мере соответствовать. В нем было очень много доброты, щедрости, размаха и, повторяю, благородства. Конечно, это одушевляет его стихи. Потому что гений – это талант плюс личность. Я думаю, мы найдем людей, талант которых не менее силен, но калибр значительно мельче. Бродский был человек крупного калибра, с чем связан его магнетизм, который ощущали все.

Татьяна Либерман, та, что Татьяна Яковлева, последняя любовь Маяковского, сказала как-то, что видела в жизни только двух настоящих гениев: “Пикассо и...” – все так закивали головами, в смысле что Маяковский, конечно, но она закончила: “...и Бродский”.

Я однажды спросил у Иосифа, относился ли он к кому-нибудь как к старшему. Он очень оживился, сказал: “Я никогда об этом не думал”. Подумал и говорит: “Очень короткий период – к Милошу и всегда – к Леше Лосеву”. Хотя Леша старше его всего на три года. Вот и все, кого он смог назвать. Характерно, что Бродский везде был старшим. Это ощущалось безусловно.

И. Т. А как вы относитесь к очень распространенным суждениям: Бродский был гневный, грубый, высокомерный, отделявшийся от людей; если писал предисловия, то только к книжкам поэтов заведомо мельче его и именно для того, чтобы показать свое превосходство?

П. В. Начнем с последнего. Он не мог писать предисловия к поэтам крупнее его или равным. Таких не было. Есть очень интересная работа у Валентины Полухиной: она анализирует

предисловия Бродского и наглядно показывает, что он руководствовался либо дружескими соображениями, либо невозможностью отказать. И только. Ее анализ полностью подтверждает мои эмпирические наблюдения.

У Бродского была такая черта – верность дружбе. Даже по отношению к тем людям, которые в последние годы вызывали у него явное раздражение, тут я могу назвать одно имя, потому что он это не скрывал, – Анатолий Найман. Тем не менее Бродский продолжал писать рекомендательные письма, звонить, устраивать ему места, выступления – в память старой дружбы. Он не мог отказать ни друзьям молодости, ни тем, кто брал за горло.

В результате предисловия были лишь формально предисловиями, на деле Бродский писал о том, что ему в тот момент было интересно. Но надо понимать, что каждый раз это был человеческий жест. Человеческий, не литературный.

Что же касается первой части вопроса, я, естественно, тоже много об этом слышал. У меня нет оснований не верить людям, которые знали молодого Бродского. При этом ясно, что чем крупнее человек, тем больше о нем врут – это совершенно понятно.

Так или иначе, я могу говорить только о том Бродском, которого хорошо знал. Это Бродский 90-х годов, то есть последних пяти лет его жизни. Он, конечно, менялся, или как он мне сказал: “Я себя воспитывал”. Говорил не однажды. “Я себя так воспитал”, “Я себя воспитывал” – это его фразы.

Вспоминаю случай. Как-то он мне позвонил и говорит: “Вы знаете, тут приехали два человека из московского журнала, надо с ними встретиться, приезжайте, а то мне одному неохота”. Я приехал, оказались невероятной надутости и помпезности люди. Несли дикую ахиною, задавали глупейшие вопросы, в конечном счете оскорбительные. Потом мы распрощались, я спрашиваю: “Иосиф, что происходит? Я ничего не понимаю? Если бы они со мной так разговаривали, я бы уже минут через пятнадцать этот разговор прекратил, потому что слушать невыносимо. А вы почему терпите?” Он говорит: “Лет десять назад я бы так и сделал”. Вот это в нем было – великодушие и нежелание обижать. С возрастом он менялся. Например, стал еще мягче после женитьбы и особенно после рождения дочери. С Марией и Нюшей он был просто трогателен.

Так что к Бродскому, которого знал я, все эти эпитеты, которые вы упоминали, неприменимы ни в какой степени. Если был такой Бродский, то в молодости, и я его не застал.

И. Т. А чем ваше с ним общение было наполнено, о чем вы беседовали? В какой манере это происходило?

П. В. Диапазон – фантастический. То есть, конечно, о литературе – о симпатиях и предпочтениях. Еще он любил стихи читать – при встрече или по телефону. Свежий стих прочесть по телефону. Хотел реакции. Удивительно – великий поэт, нобелевский лауреат – искал мнения. Когда я ему однажды сказал, что поэтам нравится “Осенний крик ястреба”, он даже голос повысил: “Каким поэтам? Я ничего об этом не знаю!” Я рассказываю, что слышал об этом от Венцловы, Цветкова, Гандлевского. Он с досадой сказал: “Мне не говорят”. При том что о Бродском написана куча статей и книг, ему действительно не хватало живой реакции. Моя жена не устает удивляться по сей день, что он ее спрашивал: “Правда вам нравится, вам правда нравится, да?”

Но темой разговоров вовсе не обязательно была литература. Например, когда шел Чемпионат мира по футболу 94-го года, мы каждый день обсуждали матчи. Еще Бродский обожал рассказывать анекдоты, в том числе очень похабные.

Часто и много говорил о политике. Реже об американской, чаще о российской. С начала 95-го не помню ни одного разговора, чтобы он не спросил, как там в Чечне. Он очень близко к сердцу принял мою поездку на чеченскую войну, а когда я написал по возвращении об этом и показал ему, он с воодушевлением одобрил и сделал несколько замечаний, по части компо-

зиции. Это единственный раз, когда я получил от Бродского конкретный урок: он посоветовал кое-что переставить и дополнить, что я и сделал.

И. Т. А как он слушал собеседника, вас, например?

П. В. По-разному. Обычно внимательно – слушал и реагировал. Но были периоды, когда он, как соловей, заходился, и уже все, не надо было прерывать, да и не хотелось. И в таких случаях всегда разговор проступал в будущем эссе, становилось ясно, что в то время он работал над какой-то темой, которой был страшно увлечен, и уже ни о чем другом думать не мог.

И. Т. Много пил?

П. В. Очень мало. Он не по этой части был. Его пороки – непрерывное курение, если говорить о здоровье, кофе в огромных количествах и то, что называется нездоровая еда. Но пил он почти исключительно вино, мог выпить рюмку-другую граппы или коньяка. Кажется, этого не было и в молодости. А по части еды – да. Помню, когда мы гостили у Иосифа и Марии под Луккой, в Тоскане, как-то купили с Иосифом на рынке сыр из головы – прессованную свиную голову. Отчаянный канцероген. Принесли это к завтраку, раскрыли – так жена его и теща чуть в обморок не упали от ужаса, что это можно есть, да еще с утра. Вот это он все любил. Там, в Тоскане, я приготовил на обед форель в вине, Иосиф вяло так головой покивал и говорит: “А вы рассказывали, что умеете делать чанахи”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.